

Мать Ксения
(Н. Н. Соломина – Минихен)

ИДЕЯ «СЕРЬЕЗНОГО ДОН-КИХОТА» И ПУШКИНСКОГО «РЫЦАРЯ БЕДНОГО» В РОМАНЕ «ИДИОТ»

Героя романа Сервантеса Достоевский считал, как известно, наиболее законченным из прекрасных лиц христианской литературы. 1/13 января 1868 г. он писал об этом своей племяннице С. А. Ивановой, почти так же, как в черновой записи, говоря о Дон-Кихоте и Пиквики, но более подробно поясняя причину успеха этих образов: «Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а, стало быть, является симпатия и в читателе» (28₁; 251).

На этой стадии работы (когда были закончены и отправлены в «Русский Вестник» первые пять глав «Идиота») и двумя месяцами позже образ Мышкина был еще почти свободен от «комического». Писатель с волнением отмечал в том же письме к Ивановой, сравнивая Мышкина с Пиквиком (или, в ином отношении, с Жаном Вальжаном): «У меня нет ничего подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача» (Там же).

Действительно, в шестнадцати главах первой части есть только один относительно комический момент: после рассказа Мышкина об осле на городском рынке в Базеле девицы Епанчины смеются над князем, говоря ему в лицо, что видели и слышали «осла». Он же, смягчая осмеяние, просто-сердечно смеется вместе со всеми. И позднее только однажды отмечается (Александрой Епанчиной), что он так простоват, что «даже и смешон немножко» (8; 48–49, 66). Однако во избежание страшившей писателя неудачи, он в начале работы над второй частью стал склоняться к мысли о том, чтобы соединить в герое *оба качества, способные пробуждать симпатию в читателе: невинность и комизм*. Но Достоевский постоянно заботился о том, чтобы не ставить Мышкина в слишком обиденные, грубо-комические положения и не унизить его осмеянием, как это нередко имеет место с Дон-Кихотом. В записи от 8 апреля 1868 г. о князе — женихе Настасьи Филипповны сказано: «Смешон. Как он отклоняет смех». Тут же автор ставит перед собою вопрос — не стоит ли усилить «комическое» в герое и расширить сферу его проявления: «? Несколько ошибок и комических черт Князя» (9; 242). Затем в первой половине июня появилась заметка о Вельмончеке (будущем Евгении Павловиче Радомском): «Вельмончек постоянно смеется над Князем и потешается им. Скептик и неверующий. Ему всё в Князе *искренно* смешно, до самого последнего мгновения» (9; 274).

Этим наброскам соответствуют в романе многие места I и II глав третьей части (8; 275–287). В сентябре писатель запланировал еще один комический эпизод: «Отказ Князю Аглаи, которой он уже делает предложение. Смешно» (9; 279). Эта заметка соотносится с двумя фрагментами романа: эпизодом невольного отказа Мышкина Аглае (он построен обратно первоначальному замыслу) и сценой «вынужденного сватовства князя» (8; 283–285, 425–429). В последней — Аглая в конце концов раскаивается, что обратила в насмешку «прекрасное <...> доброе простодушие» Мышкина, и просит простить ей эту шалость, далеко не единственную по отношению к князю. По замыслу писателя, симпатия к Мышкину должна возрасти от того, что он принимает насмешливое отношение к себе как нечто совершенно естественное. Пробуждение сострадания к «осмеянному и не знающему себе цены прекрасному» стало и для Достоевского одним из средств воздействия на сердца читателей. При этом почти во всех случаях «осмеяния» героя острейшее сочувствие к нему испытывают — тем усиливая его и в читателе! — действующие лица романа (чаще всего — Епанчины). Их экспрессивные высказывания способствуют раскрытию облика князя и *оберегают образ от снижения*. Эта особенность (не характерная для романа Сервантеса) проявляется и в эпизодах, исполненных мягкого комизма, и в остро драматических. Так, спровоцированная Аглаей сцена «сватовства» вызывает недовольство всей семьи и в конце концов — искреннее раскаяние девушки. Долгое глумление над князем компании Бурдовского завершается бурной защитительной речью Лизаветы Прокофьевны. А когда генеральша в обиде за князя его же и бранит за «дурачества», — прорывается накопившееся возмущение Аглаи «этими мерзкими людьми», сочувствие к нему Аделаиды и т. п. (8; 250). Не только сам Мышкин часто «отклоняет смех» над собой, как это мыслилось автором первоначально. Отклоняют смех от главного героя и действующие лица романа.

В VI главе второй части «Идиота» устами Аглаи Епанчиной высказана одна из важнейших мыслей о Мышкине: он — «тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический» (8; 207). Введение ее в роман было завершающим моментом объединения в образе князя нескольких идей, восходящих к литературным источникам. При этом все они подчинены главной идее, лежащей в основе замысла, — евангельской идее «Князя Христа».

Вопрос об отражении в романе темы «серьезного Дон-Кихота» обширен и сложен. Я остановлюсь лишь на тех аспектах этой проблемы, которые тесно соприкасаются с темой моей работы и могут в будущем стать предметом специального исследования. Задача эта в большой мере облегчается тем, что итоги своих раздумий о книге Сервантеса, которые были особенно углубленными именно в пору писания «Идиота», Достоевский отразил в «Дневнике писателя» за 1877 г. Так, в февральском выпуске (гл. 1, § 4) объясняется именно сущность отличия серьезного Дон-Кихота от комического. Уподобляя герою Сервантеса Россию, автор подчеркивает: «Над Дон-Кихотом, разумеется, смеялись: но теперь, кажется, уже восполнились

сроки <...>, он несомненно осмыслил свое положение <...> и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным рыцарем...» (25; 49).

Итак, не отсутствие «комического» в герое делает его «серьезным Дон-Кихотом», а ясное понимание, осмысление Мышкиным своего положения и реальный, а не фантастический характер его деятельности, его «подвигов».

В сентябре 1877 г. писатель начал II главу «Дневника» замечательным по своеобразию и глубине анализом книги Сервантеса, которую (почти десятилетием ранее) *ему так хотелось превзойти!* Мысли, выраженные здесь, безусловно возникли у Достоевского еще в период становления образа Мышкина и способствовали этому становлению.

Именно поэтому автор решил увеличить срок отсутствия князя в Петербурге до шести месяцев. Мышкин посещает остроги, знакомится с подсудимыми и осужденными. Он встречается с людьми самого разного социального положения и возвращается убежденным, что «на нашем русском свете» «есть что делать» (8; 184). Воздействию России на своего героя Достоевский собирался отвести в романе гораздо большее место. В черновиках к «Идиоту» есть упоминание про рассказы князя о России, про его суждения о русском народе, о Западе и Востоке. Заметки эти, как отмечается в комментарии ПСС, «послужили основой для ряда разбросанных в романе высказываний князя по общественно-идеологическим вопросам и особенно речи, произнесенной им в гостиной Епанчиных» (9; 366).

Автор «Дневника писателя» указывает не только на положительные черты Дон-Кихота, из которых многие свойственны и его герою. Он с большой глубиной и проникновенностью пишет о том, чего «не доставало» герою Сервантеса. Эти строки представляют наибольший интерес для исследователей. Они помогают понять, какими качествами Достоевский стремился наделить Мышкина — *по контрасту с Дон-Кихотом*. Вот что читаем мы в «Дневнике»: «Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум — всё это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам <...> не доставало одного только последнего дара — именно, *гения*, чтоб управлять всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управлять и направить всё это могущество на правдивый, а не на фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества!» (26; 25).

После того, как на довольно ранней стадии работы идея «серьезного Дон-Кихота» неразрывно слилась в образе Мышкина с идеей «Князя Христа», автор был особенно озабочен тем, чтобы дать ему поле деятельности — реальной и «правдивой»: благотворного влияния на души действующих лиц романа, помощи всем, кто в ней нуждается, и попыток «воскрешения» Настасьи Филипповны.

Указание в той же главе «Дневника», что герою Сервантеса, как и многочисленным деятелям Дон-Кихотам, «пламенным друзьям человечества», не хватает способности «прозреть в истинный смысл вещей», не хватает «гения», которого «отпускается на племена и народы так мало, так редко», делает особенно понятным, почему писатель придавал большое значение прозорливости и проницательности Мышкина. Достоевский строит отношения князя с другими героями как непрерывную цепь его предчувствий о них, угадываний, прозрений. Он наделяет Мышкина не просто мудростью, но и высшим разумом, или «главным умом», как выражается Аглая, дает ему способность переживать моменты «восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни» (8; 356, 188). С мягкой, грустной иронией пишет автор «Дневника» о «прекрасном», «великом» и «полезном» идеале рыцаря, отказавшись от которого Дон-Кихоту остается только умереть (26; 26). Своему же герою писатель дает идеал, достойный глубокой, полной веры, идеал вековечный и истинный, ибо идеал Мышкина — Христос!

После «сцены соперниц» Настасья Филипповна вновь становится невестой князя, и в романе упоминается в последний раз о надежде Мышкина на возрождение ее души. Говоря о беспокойстве князя, вызванном ее «душевым и умственным состоянием», автор замечает: Но он «искренно верил, что она может еще воскреснуть» (8; 489). Сама же идея великой, вечной ценности человеческой души, а потому и *необходимости* ее исцеления, как *все* основные идеи, исходящие от главного героя, имеет своим источником Новый Завет: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16: 26).

24 мая в черновиках к «Идиоту» появилась запись, характеризующая основное убеждение Мышкина и чрезвычайно близкая по духу приведенным словам Евангелия: «NB₁) Полная история реабилитации Н<астасьи> Ф<илипповны>, которая невеста Князя. (Князь объявляет, когда женится на Н<астасье> Ф<илипповне>, что лучше одну воскресить, чем подвиги Александра Македонского» (9; 268).

Уже в начале 60-х годов автор «Идиота» придавал огромное значение идее «восстановления погибшего человека». В предисловии к «Собору Парижской Богоматери», опубликованному в русском переводе во «Времени» братьев Достоевских, писатель с полным основанием назвал эту идею «христианской и высоконравственной». (Вспомним слова Христа о Своей миссии: «...Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18: 11, 14; Лк. 19: 10). Достоевский видел следы этой идеи во всех европейских литературах и считал Виктора Гюго одним из первых и самых ярких ее провозвестников. Как уже отметил Г. М. Фридлендер в комментарии ПСС, под безусловным влиянием французского писателя та же идея, начиная с «Преступления и наказания», вошла в творчество Достоевского (см.: 9; 407, 20; 277–278). По мнению писателя, идея «восстановления» была новым словом в искусстве XIX в., и он восхищался тем, что Гюго удалось ее заявить с «такой художественной силой» (20; 29). В период создания «Идиота»

аналогичная задача стояла перед ним самим. Стремясь разрешить ее успешно, автор романа старался возвысить и — на определенной стадии работы — опозитизировать как самую идею, так и образ ее носителя, Мышкина. Одним из главных средств поэтизации стало введение в текст «Идиота» пушкинской баллады о «рыцаре бедном» («Легенда» — 1829; краткая редакция в «Сценах из рыцарских времен» — 1835). Я подробно рассматриваю в дальнейшем вопрос о роли этого стихотворения в произведении Достоевского. Здесь же небезынтересно заметить, что у писателя была даже мысль о прямом декларировании идеи, определяющей характер деятельности главного героя. Автор собирался «воспользоваться» неведением генеральши Епанчиной, не читавшей прежде баллады Пушкина и не понимающей подлинного ее смысла. Это давало ей право на собственную интерпретацию. Прослушав стихотворение, восхищенная и растроганная Лизавета Прокофьевна должна была раскрыть не смысл пушкинского образа, а идею, вдохновлявшую Мышкина, — «рыцаря бедного» и «серьезного Дон-Кихота» XIX столетия: «Да, он был „полон чистою любовью“, он был „верен сладостной мечте“ — *восстановить и воскресить человека!*» (9; 264).

Синтезирование наиболее существенных авторских идей, восходящих к Евангелию, а также других литературных ассоциаций, которые постепенно слились в новый сплав в образе Мышкина, отразилось в черновиках в такой последовательности: 12 марта «любовь христианская» утверждается как ядро личности князя; через несколько недель писатель решает наделить своего *невинного* героя некоторым комизмом — привлекательной чертой Дон-Кихота и Пиквика; тогда же (9–13 апреля) появляются заметки: «Князь Христос», а через четыре дня автор заполняет особый раздел подготовительных материалов записями, относящимися к пушкинской балладе «Жил на свете рыцарь бедный...». Через сопоставление образа, созданного Сервантесом, с героем этого стихотворения и выражена Аглаей идея о «серьезном Дон-Кихоте».

Достоевский в разное время наметил несколько вариантов сцены чтения баллады. В окончательном тексте она подготовлена с большой тщательностью. Уже в начале второй части читатель узнает, что письмо от князя Аглая заложила, не отдавая себе в том отчета, в «Дон-Кихота Ламанчского». И когда через неделю «случилось ей разглядеть, какая была это книга», девушка «ужасно расхохоталась — неизвестно чему». Лишь много позднее — из «лекции» Аглаи о «рыцаре бедном» — становится ясной причина этого смеха: у нее именно тогда возникла мысль, что Мышкин (как и пушкинский герой) — «тот же Дон-Кихот...» (8; 157, 207). Писатель собирался далее ввести и специальный эпизод, который по-иному, чем в окончательной редакции, прояснял бы чрезвычайную роль письма в жизни Аглаи: «От князя 6 месяцев ни слуху ни духу. Аглае письмо, через Колю, которое она не показала никому. При визите Князя на даче (и при женихе) Аглая вдруг ему *вслух*. „То письмо, которое вы мне прислали“ (лицо строгое; „ваш образ встал передо мной“). Генеральша рассердилась» (9; 255–256).

Еще об одном варианте той же сцены интересно упомянуть потому, что в нем поводом для чтения стихов было второе письмо Мышкина к

Аглае, где он говорил и о пушкинском герое, возможно, даже сравнивая себя с ним: «Генеральша читает его письмо. „Какой такой „Бедный рыцарь“? То-то она читает все „Бедного рыцаря“. Аглая, не стыдясь, стала и прочла „Бедного рыцаря“» (9; 269).

Текст стихотворения приводится писателем по семитомному собранию сочинений А. С. Пушкина под редакцией Анненкова, которое имелось в библиотеке Достоевского¹. В этой краткой редакции баллада была включена Пушкиным в «Сцены из рыцарских времен». Анненков же, думая, что она введена была туда редакцией «Современника», где «Сцены» были опубликованы в 1837 г., приводит текст баллады и отдельно². Издание Анненкова Лебедев, как большую редкость, предлагает «за свою цену—с» Лизавете Прокофьевне, говоря, что его «теперь и найти нельзя» (8; 212).

Сцене чтения баллады предшествует интродукция, начинающаяся с возгласа Коли Иволгина: «Лучше „рыцаря бедного“ ничего нет лучшего!» Возглас этот — повторение слов Аглаи: «— Я на собственном вашем восклицании основываюсь! — прокричал Коля. — Месяц назад вы „Дон-Кихота“ перебирали и воскликнули эти слова...» (8; 205).

Введение к сцене строится так, что генеральша Епанчина (а вместе с нею и читатель) начинает «очень хорошо понимать про себя», кто подразумевается под «рыцарем бедным». И только после того, как «шутка» заходит слишком далеко и в душе читателя многократно — при каждом новом упоминании о рыцаре — возникает образ Мышкина, начинается Аглаина «лекция». Из нее становится ясно, что в воображении Аглаи образы пушкинского героя и Дон-Кихота стоят рядом, *во многом сливаются*. Буквы А. М. Д., начертанные на щите рыцаря, являются сокращением латинских слов «Ave Mater Dei» («Радуйся, Матерь Божия»). Аглая определяет девиз как «темный, недоговоренный» и заменяет А. М. Д. на А. Н. Б., что означает: «Ave, Настасья Барашкова», а потом на Н. Ф. Б. Достоевский специально останавливает внимание на этой замене.

Когда Коля Иволгин, не помнящий точно букв девиза и не понимающий его смысла, поправляет А. Н. Б. на А. Н. Д., девушка «с досадой» настаивает на своем: «А я говорю А. Н. Б., и так хочу говорить» (8; 206–207). В неосуществленном варианте эпизода, о котором теперь пойдет речь, Аглая заменяет буквы девиза, *вполне понимая его значение*.

17 апреля 1868 г. Достоевский целый раздел черновых записей озаглавил «**РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ**». Заметки эти проливают свет на роль в романе пушкинского стихотворения. Я позволю себе привести здесь отрывок из этого раздела, поскольку это даст мне возможность разместить некоторые строки иначе и тем устранить небольшие неточности, допущенные в свое время мною при подготовке текстов подготовительных материалов в академическом издании. Несколько предварительных замечаний. После заголовка: «**РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ**» — Достоевский отмечает: «Аглая о нем с Князем». Однако сразу после этих слов писателем приводится фрагмент разговора

¹ См.: Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 134.

² См.: Пушкин А. С. Сочинения. СПб., 1855. Т. III. С. 17; Т. V. С. 491.

не между Мышкиным и Аглаей, а между Аглаей и одной из ее сестер. Судя по соседним записям — с Аделаидой. Объяснение же с князем по поводу того, какую любовью («чистой» или нет) он любит Настасью Филипповну, должно было явиться следствием этого разговора сестер Епанчиных.

Девушки рассуждают как раз о девизе рыцаря, начертанном на его щите, и Аделаида спрашивает сестру о том, кого же рыцарь избрал в дамы своего сердца. Аглая говорит ей, что это могла быть «какая-нибудь самоотверженная мученица». Затем новая фраза звучит так: «Может быть, даже... Они ведь читали Библию». Под многоточием «скрывается» Богоматерь, так как «они», то есть рыцари, действительно читали Библию и так как далее Аглаей приводится строка, содержащая эмблему Богоматери, и девушка спрашивает: «Да и кто ж после того может быть: *Lumen Coeli, Sancta Rosa?*» А Аделаида реагирует на ее слова недоверчивой репликой: «Ну уж ты завралась» (9; 263). Вспомним, кстати, что Федор Михайлович хорошо знал латынь и что православные христиане обращаются к Богоматери тоже как к Царице Небесной. Потому-то угроза рыцаря и поражала, «как гром», иноверцев мусульман, что он взывал к Богоматери. Достоевскому это, безусловно, было понятно, как и многим читателям. Они понимали, вероятно, и то, что опущенное постоянно забрало рыцаря — знак данного им Богоматери обета отрешения от мира. Еще на одну деталь такого рода обращает внимание своих слушателей в окончательном варианте эпизода сама Аглая. Она говорит, что «влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею» и что чувство его дошло до «аскетизма» (8; 207). Четки — знак постоянного молитвенного поклонения. Пушкинский герой носит их вместо традиционного «шарфа красоты», который обычно был такого же цвета, какой преобладал в нарядах избранницы рыцаря³.

Далее мною приводится с уточненным чтением интересующий нас отрывок из черновой записи Достоевского:

«„РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ“

Аглая о нем с Князем.

— Может быть, какую-нибудь самоотверженную мученицу, которую можно любить чистой любовью обожания чистой красоты, обожанья идеала. Может быть, даже... Они ведь читали Библию. Да и кто ж после того может быть: *Lumen coeli, Sancta Rosa?*

Полон чистой любовью Н.Ф.Б. своею кровью... — к кому могут относиться эти слова?... — Ну уж ты завралась» (ср.: 9; 263).

В свете вышеизложенного становится ясным, почему Достоевский включил в роман еще одну характеристику пушкинского произведения, которая предваряет декламацию Аглаи. На гневный вопрос генеральши: «Растолкуют мне или нет этого „Рыцаря бедного“?» — князь Щ. отвечает:

³ Сведения о «шарфе красоты» и о символике опущенного забрала рыцаря почерпнуты мною из статьи Р. В. Иезуитовой «Легенда» (Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика. Л., 1974. С. 166). В этой же статье сообщается о том, что факт публикации строфы пушкинской баллады в «Современнике» установлен Н. Ф. Сумцовым (С. 143–144).

«Просто–запросто есть одно странное русское стихотворение <...>, отрывок без начала и конца» (8; 206).

Для полного понимания этих слов князя Щ. нужно учесть, что ранняя редакция баллады, в которой на шесть строф больше, не была известна ни широкой публике, ни специалистам по Пушкину до 1884 г.⁴ Однако третья ее строфа, посвященная как раз видению рыцаря и потому раскрывающая смысл девиза, появилась в «Современнике». За всем, что публиковалось в этом журнале, Достоевский, вне всяких сомнений, следил с *огромным вниманием!* Пушкинская строфа была приведена в статье «Уважение к женщинам», напечатанной без подписи⁵. И тема статьи, и общая ее тенденция не могли не заинтересовать Достоевского. В «историческом исследовании» М. Л. Михайлова речь идет о положении женщины в Германии, но имеется в виду также ее положение в России. На обширном материале автор стремится показать, что во все времена женщина «везде» оставалась «рабски подчиненною», и призывает увидеть в ней полноправного человека. Связанные с цитируемой пушкинской строфой рассуждения Михайлова, безусловно, должны были остановить на себе внимание писателя.

«В культе Марии, который так развился в средние века, хотят видеть тоже какую–то связь с идеальным „служением женщинам“. Это обыкновенно объясняется цветистыми фразами: „Ореол с головы Марии был как бы перенесен на голову каждой женщины“ — и т.п. Рыцарь Пушкина был гораздо последовательнее. Как известно, он имел „непостижное уму“ видение:

Путешествуя в Женеву,
Он увидел у креста
На пути Марию Деву,
Матерь Господа Христа»⁶.

Именно эту строфу, опубликованную в «Современнике», Достоевский — явно по памяти и для памяти — внес позднее в записную тетрадь 1880–1881 гг., в раздел «Слова, словечки и выражения», начатый 17 августа 1880 г. Писатель приводит ее со значительными отклонениями и сам же вносит существенную поправку: «Видел он Святую Деву» — вместо: «Встретил он Святую Деву». Но последняя, «ключевая» строка совершенно точна (27; 44).

В сравнительно недавно опубликованной статье Г. Л. Боград, говоря о павловских реалиях «Идиота», сообщила, что М. М. Достоевский, брат писателя, жил на даче в «одном доме или по одной улице с сестрой Пушкина, О. С. Павлищевой», фамилия которой была дана опекуну князя Мышкина. По предположению исследовательницы, Федор Михайлович мог узнать полный текст стихотворения и от сестры Пушкина⁷.

⁴ См. об этом подробнее в указанной статье Р. В. Иезуитовой.

⁵ См.: Современник. 1866. № 1. Отд. I. С. 275–319; № 3. Отд. I. С. 92–129; принадлежность статьи М. Л. Михайлову установлена П. В. Быковым, см.: 9; 403.

⁶ Современник. 1866. № 1. Отд. I. С. 305.

⁷ См.: Боград Г. Л. Павловские реалии в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Статьи о Достоевском: 1971–2001. СПб., 2001. С. 152–164.

ИДЕЯ «СЕРЬЕЗНОГО ДОН-КИХОТА» И «РЫЦАРЯ БЕДНОГО»

Михайлов одобряет рыцаря за то, что после своего видения он не предался служению земной женщине, оставшись верен Марии. Правота рыцаря так обосновывается автором: «Если и были у рыцарства какие-то возвышенные идеалы, то их нечего было искать в жизни. Жизнь не могла удовлетворить заоблачных фантазий и претворяла их в очень земную практику»⁸.

Статья навела Достоевского на мысль, что приведенная Михайловым строфа — не единственная неопубликованная. Впечатление незавершенности баллады, о котором говорит князь Щ., возникло у писателя прежде всего потому, что финал ее (в этой, сокращенной Пушкиным, редакции) противоречит традиционному представлению о всегдашней «отзывчивости» Богоматери на усердные моления к Ней. Об этом представлении, очень широко бытующем в православной народной среде, Достоевский не только хорошо знал, но и разделял его с народом. В романе «Бесы», например, приводится эпизод заступничества Богоматери за грешника *сразу* после искренней покаянной молитвы (см.: 10; 428). В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский упоминает о том, что русский народ называет Богоматерь, «кроткую молещницу за людей», «скорой заступницей и помощницей» (22; 93). Федору Михайловичу должно было показаться странным, что высокое чувство рыцаря, поглотившее всю его душу и жизнь, не нашло разрешения, не получило никакого отклика. Сравните с пространной редакцией баллады, где Пречистая в час смерти рыцаря избавляет его Своим сердечным заступлением от подоспевшего лукавого беса и впускает «в царство вечно // Паладина Своего»⁹. Это впечатление о фрагментарности стихотворения — «отрывок без начала и конца» — Достоевский и передал читателю.

Хотя статья «Современника» действительно припоминалась писателю в пору создания романа, мнения Михайлова о рыцарстве и о герое баллады не могли быть близки Достоевскому: смысл слов Аглаи им вполне противоположен. Судя по ее монологу, Достоевский не склонен был сомневаться ни в существовании «огромного понятия средневековой рыцарской платонической любви», ни в том, что и в его время «живая жизнь» могла питать идеалы, близкие рыцарским. И если Михайлов не допускает даже мысли о том, что венцом Богоматери рыцари могли осенять головы своих дам, то смысл пушкинской баллады в контексте романа как раз в том и состоит, что князь Мышкин, «рыцарь бедный» XIX столетия, отдает себя служению Настасье Филипповне, как герой баллады — Деве Марии. Введение в роман сцены чтения пушкинского стихотворения *поэтизирует и возвышает* оба образа: и *Настасьи Филипповны* и *князя*. С той же целью Достоевский вводит в «лекцию» Аглаи еще один пушкинский мотив, к которому девушка настойчиво возвращается: «Там, в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал „рыцаря бедного“, но видно, что это был какой-то светлый образ, „образ чистой красоты...“» (8; 207).

⁸ Современник. 1866. № 1. Отд. I. С. 305.

⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. М., 1974. Т. 2. С. 181.

Слова «образ чистой красоты» и первое из следующих упоминаний о «чистой красоте» дамы рыцаря поставлены Достоевским в кавычки. Скорее всего, писатель цитирует (и в первом случае намеренно неточно) слова из пушкинского стихотворения «К***» (1825). Они вызывают в памяти:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты.

Достоевский, мне кажется, сознательно заменяет «гений» на «образ» (икона), тем усиливая еще более мотив молитвенного поклонения. Так, рядом с «непостижным» уму видением рыцаря перед читателем возникает еще одно. Следует отметить, что лишь первое из упоминаний «образа чистой красоты» можно считать поясняющим столь важный в концепции романа собственно пушкинский смысл баллады. Далее Аглая произносит слова, не имеющие никакого отношения к пушкинскому герою. Они относятся уже только к Рыцарю Печального Образа и к предмету его высокой любви, Альдонсе Дульсинее. Из черновиков к роману ясно, что образы, созданные Сервантесом и Пушкиным, неразрывно соединились в сознании Достоевского (как и в воображении его героини) на довольно раннем этапе работы. И до самого ее завершения происходило своеобразное синтезирование некоторых их черт в характере нового героя, «Князя Христа». Поэтому после сцены чтения баллады Достоевский ввел в текст еще несколько упоминаний о «рыцаре бедном» с целью сохранить в памяти читателя весь комплекс идей и ассоциаций, способствовавших становлению образа Мышкина (см.: 8; 274, 283 и др.).

Продолжая свое маленькое литературно-критическое исследование, которое Лизавета Прокофьевна недаром называет «лекцией», Аглая утверждает, что «этому „бедному рыцарю“ уже всё равно стало: кто бы ни была и что бы ни сделала его дама». Разумеется, в каждом ее слове содержится намек на отношения князя и Настасьи Филипповны: «Довольно того, что он ее выбрал и поверил ее „чистой красоте“, а затем уже преклонился пред нею навеки; в том-то и заслуга, что если б она потом хоть воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее чистую красоту копыя ломать» (8; 207).

Интересно, что этой донкихотской способностью слепой, несомненно, обладающей веры Мышкин действительно наделен, и она ярко сказывается именно в отношении к Аглае, постоянно ревнующей князя к Настасье Филипповне. Князь склонен ничем не смущаться и «продолжать блаженствовать»: «О, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи; но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог поколебаться ничем» (8; 431).